

Михаил Петрович Арцыбашев

**Роман маленькой
женщины**



Михаил Петрович Арцыбашев

Роман маленькой женщины

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2827425

Аннотация

«Торопливо ходили чиновники с бумагами и озабоченным видом; сторож величественно разносил крепкий холодный чай; пишущие машинки трещали так, точно целые десятки маленьких молоточков наперебой, азартно ковали крохотные подковки, и каждый день Елена Николаевна со стремительной быстротой выстукивала ловкими гибкими пальцами...»

Содержание

I	4
II	12
III	28
IV	42

Михаил Петрович

Арцыбашев

Роман маленькой женщины

I

Торопливо ходили чиновники с бумагами и озабоченным видом; сторож величественно разносил крепкий холодный чай; пишущие машинки трещали так, точно целые десятки маленьких молоточков наперебой, азартно ковали крохотные подковки, и каждый день Елена Николаевна со стремительной быстротой выстукивала ловкими гибкими пальцами:

«Согласно отношению господина управляющего Чирковской транспортной конторы, имеем честь препроводить копию с кассационной жалобы грузовладельца Исаака Абрамовича Киршнера...»

Длинный белый лист как живой все больше и больше выползал из цепких лапок машинки, и когда бумага, колыхнувшись, загнулась назад, Елена Николаевна выпрямила опустившиеся от усталости слабые плечи и, взглянув прямо перед собою в окно, задумалась.

За мутным стеклом тоненько тянулись вверх три березки,

а за ними высилась, казалось, до самого неба серая стена ро-
ляльной фабрики. Словно черные коленчатые змеи, ползли по
ней ржавые железные трубы.

День был солнечный, и в палисаднике было светло и
красиво. Той особенно трогательной, болезненно-робкой и
хрупкой красотой, которая почти грустно чувствуется толь-
ко в больших городах, в жалких садиках и сквериках, этих
клочках природы, затерянных среди каменных стен, мосто-
вых и грохота уличного шума.

На тоненьких красных прутиках рябили наивные почки
с белым детским пушком. Сухие прошлогодние листья, как
траурная кайма лежавшие вдоль стен и дорожек, приподы-
мались колкими иглами новой травы, зеленой, как изумруд.
На сырых дорожках отчетливо печатались чванливо-фигур-
ные следы вороньих и галочьих лапок. Стволы березок были
свежи и чисты, точно кто-то только что умыл их студеной
водой из талого хрупкого снега. У самой стены, в углу, как
бы притаившись от всего света, еще стоял запыленный, на-
сквозь ноздреватый сугроб. Солнце светило прямо на него,
и снег исчезал на глазах, пуская чуть заметный дрожащий
парок.

Неба не было видно из окна, но, должно быть, оно было
чисто и голубело так, что все тени казались легкими и голу-
боватыми. Порой на палисадник налетали смеющиеся пят-
на и, быстро поднимаясь по стене фабрики, исчезали где-то
вверху, давая знать, что высоко над городом, в голубеющем

просторе, точно паруса далеких счастливых кораблей, проплывают весенние облака.

В отворенную форточку вливался густой сочный воздух и до самого сердца проникал неопределенной, радостно-грустной истомой. Елена Николаевна сидела неподвижно, и на ее осунувшемся личике задумчиво светились большие, слегка оттушеванные бледностью глаза. Она забыла о срочной работе, о черновике присяжного поверенного Хлудекова, а между тем думала именно о нем, и перед ее остановившимися глазами стояло лицо высокого холеного блондина с подстриженной бородой и слегка капризными, чувственными губами. Она даже как будто слышала его уверенный, подавлявший неуловимым оттенком презрительной иронии голос, в котором так ярко и мягко вспыхивали особые нотки, когда он говорил с Еленой Николаевной. Передавая ей свои бумаги, он всегда переходил в тон фамильярно-дружеской шутки и тепло и загадочно смотрел в глаза, на мгновение задерживая ее маленькую руку в своей холеной ладони. И когда глаза его становились особенно проникновенно задушевные, Хлудеков всегда говорил, капризно растягивая слова:

– Ску-чно, Елена Николаевна!.. Как это вы можете удовлетворяться такой жизнью?.. Не понимаю я вас... Неужели вам не хочется иногда выскочить из колеи, поступить по-своему, хотя бы всем наперекор...

В его прищуренных зрачках мелькал темный огонек, напоминавший взгляд охотника, когда он уже близко видит

преследуемую им дичь. И Елена Николаевна до конца понимала его мысли и желания, которых он не смел высказать. И было ей стыдно и приятно. Эти смутные намеки волновали ее и иногда бессознательно досадовали, как будто ей хотелось, чтобы он не хитрил, не говорил высоких слов, а сказал прямо, чего ему нужно. В ее гибком, стройном теле двадцатилетней девушки как будто жило два чувства: одно чего-то требовало, другое стихийно и гадливо возмущалось. Но иногда Хлудеков загадочно прибавлял:

– Впрочем, вы, вероятно, недолго засидитесь у нас!..

Девушке становилось просто грустно: Хлудеков говорил это без насмешки, но он прекрасно должен был знать, что Елена Николаевна сидит тут «у нас» уже семь лет. Тонкий страх покалывает в сердце девушки, когда она видит в зеркале, что кожа в уголках глаз потеряла прежний блеск и тихо вянет, напоминая последнюю нежность осенних лепестков. И вообще это медленно-осторожное увядание чувствовалось во всем: реже хотелось смеяться, чаще задумываться и даже плакать без причины. Иногда находило такое апатичное чувство, что не хотелось никого видеть, и, закутавшись в большой платок, девушка могла по целым часам сидеть у окна, большими остановившимися глазами глядя в сад или на вечернее небо, тихо догоравшее за темными крышами города.

Еще так недавно каждый человек интересовал ее, как игрушка, а теперь из всех знакомых только два-три могли хоть сколько-нибудь занять, а с остальными было скучно и досад-

но. На пикниках и прогулках она могла молчать и быть одинокой среди самого бурного веселья, шума и беготни.

И теперь, глядя в палисадник, Елена Николаевна думала о том же, и ей было больно-больно. Хотелось плакать крупными, тихими слезами. Страшно было жаль чего-то и неизвестно чего. Должно быть, того, что могло быть в жизни и не было. Она знала, что это – любовь, но какая любовь, не могла бы ответить. Воображение рисовало ей счастье только до тех пор, пока мечта была безразлична. Тогда любовь казалась радостной и красивой, как праздник, но как только из тумана выдвигалось определенное мужское лицо и начинало улыбаться ей с выражением откровенной и бесстыдной мысли, праздничные огни погасали и как чад, клубами подымалась одна пошлость, животный акт, грубый и безобразный, как грязное белье.

Елена Николаевна давно знала, что именно составляет главное в любви мужчины и женщины, и когда на мгновение, стыдливо, уголком мысли, представляла себе свое голое тело и возбужденное лицо мужчины, ей делалось так мучительно противно и стыдно, что хотелось спрятаться, убежать, закрыться с головой и никого не видеть, не слышать.

– А между тем так и есть!.. Все так живут!.. Именно это и есть любовь! – с болезненным недоумением говорила она себе. – Но в чем же тут красота... Зачем это?

И иногда ей казалось, что тут какая-то ошибка. И эта ошибка как-то сливалась в одно с теми мужчинами, в обще-

стве которых ей приходилось жить.

Отчего так ясно представляется, как каждый из них подойдет, какими словами будет говорить о своих чувствах, как будет целовать и что будет дальше?.. Хоть бы какая-нибудь загадка... Какой-нибудь туман, чтобы хоть не так грубо выпячивалась... эта гадость!

Лицо Елены Николаевны мучительно сжималось, и она с тоской смотрела в палисадник, чувствуя острое желание чего-то и не видя ничего, похожего на то, что смутно просилось на свободу из ее светлых больших глаз, мягких волос, гибкого, с покатыми плечами и стройными бедрами, тела, точно выточенных рук с маленькими нежными пальцами.

– О чем вы все мечтаете? – спросил ее знакомый, слегка иронический, но вкрадчивый голос.

Елена Николаевна вздрогнула и обернулась, краснея до ушей, маленьких и чутких, прячущихся в пушистых волосах, как зайчики.

Перед нею стоял Хлудеков и смеялся, чуть-чуть маслянистым блеском отливая в прищуренных глазах.

– Ах, простите, ради Бога... Я еще не кончила! – виновато проговорила Елена Николаевна.

Хлудеков притворно нахмурился.

– А, вот как!.. Штраф!.. Ничего, ничего... мне не к спеху! – засмеялся он одними глазами и отошел.

Но по тому, как нерешительно он двигался и как затрудненно оглядывался вокруг, Елена Николаевна поняла, что

бумага была спешная, и он теперь не знает, как быть. Минутку Хлудеков как будто колебался, потом заглянул в какую-то книгу, перевернул две-три страницы, положил и решительно скрылся в своем кабинете.

Несколько пар глаз наблюдали за ним, и Елена Николаевна чувствовала это. Она знала, что другим досталось бы за неаккуратность и что эти другие хорошо понимают, отчего такая странная мягкость и снисходительность у всегда холодного и взыскательного Хлудекова. Стало мучительно стыдно: Елене Николаевне на мгновение показалось, что она – совсем голая и что все эти завистливые взгляды критически осматривают ее обнаженное тело, соображая, достойно ли оно принадлежать Хлудекову и скоро ли будет принадлежать. И, потупив голову, под тяжестью беспомощного стыда, Елена Николаевна вся склонилась над бумагой, торопливо щелкая клавишами и ошибаясь. Щеки у нее горели, и в глазах против воли стояли слезы оскорбления и отвращения к Хлудекову, ко всем окружающим, грязно думающим людям, и даже к себе самой, как будто в чем-то виноватой.

Но к тому времени, когда бумага была готова, она успокоилась и другое появилось в ней.

– Вот. Извините, ради Бога, Виктор Владимирович, – заговорила она, входя в кабинет Хлудекова, и голос ее звучал легко и кокетливо. Даже каблучки постукивали как-то особенно, точно играя. Она чувствовала свое обаяние над этим капризным, избалованным человеком, и оно будило дерзкое

чувство. Хотелось сесть к нему на стол, швырнуть перчатки на деловые бумаги и, играя носком ботинка, насмешливо смотреть и на обалдевшего Хлудекова, и на тех, кто через открытую дверь завистливо наблюдал за нею.

Только все-таки противное, унижительное ощущение обнаженности ползало под взглядом Хлудекова по всему телу маленькой женщины.

II

Играла музыка, и вереница людей, с говором, шорохом платьев и смехом, двигалась перед музыкальной эстрадой. Вечер был лунный, и где-то высоко над деревьями и фонарями стояла луна. Но ее не было заметно: фонари блестели ярче и возбужденнее.

Елена Николаевна тихонько двигалась по течению толпы, и рядом с нею молчаливо, одним плечом вперед, чтобы не задевать встречных дам, шагал длинный офицер, с унылым и безнадежно влюбленным лицом.

– Скучно! – капризно говорила девушка. – Хоть бы что-нибудь рассказали... Что вы все молчите?

Длинный офицер весь задвигался и беспомощно оглянулся по сторонам.

– Да что-то сегодня никого не видно... – проговорил он, радуясь своей редкой находчивости.

Елена Николаевна рассердилась с беспричинным и жестоким женским деспотизмом.

– А вы думаете, что мне непременно кого-нибудь надо? А вы-то сами?

– Я, Елена Николаевна, ей-богу... – смущенно пробормотал офицер.

– Ей-богу! – с досадой передразнила девушка. – Ну, расскажите что-нибудь... Ну... ну, были ли вы влюблены ко-

гда-нибудь?

В голосе Елены Николаевны прозвучала тоска: она заранее знала ответ.

– Я?.. Я и теперь влюблен, Елена Николаевна... Вы же сами знаете...

– Ну да, знаю, знаю и еще раз – знаю!.. Я не об этом хочу... А раньше?.. Ну, в первый раз?

Офицер мучительно покраснел и даже запутался в полах своей длинной кавалерийской шинели.

– Первый раз?

– Ну да...

– Первый раз, право, не помню... То есть, – заторопился он, перехватив капризное движение девушки, первый раз... конечно... Я первый раз, Елена Николаевна, был влюблен в горничную... – с мужеством отчаяния закончил он, и все его красное лицо сразу облилось потом.

Елена Николаевна с гадливым любопытством посмотрела на него.

– Разве? – закусив губы и шевельнув бровями, процедила она. – Не много же чести быть любимой вами!

Девушка нехорошо засмеялась, и глаза ее стали злыми.

Офицер обомлел. На его неумном, совсем беспомощном лице, на котором нелепо торчали светлые распущенные усы, отразилась кроткая, горькая обида.

– Сядемте... Мне надоело метаться, как маятник... – коротко сказала девушка, глядя в сторону.

Скамейка была в самом конце сада, где почти не было гуляющих, деревья редели, как на опушке леса, и луна светло стояла над их тонкими верхними ветками. Елена Николаевна сидела утомленно, и капризная скука сквозила во всех движениях ее хорошенькой фигурки, нервно постукивающей по земле кончиком ботинка. Офицер сидел прямо, как жердь, поджав под скамейку длинные ноги в лакированных сапогах.

– Ну, – сердито протянула Елена Николаевна.

– А второй раз я был влюблен... – вдруг точно от толчка выпалил офицер.

– В кухарку? – насмешливо закончила девушка и опять нехорошо засмеялась.

– Н... нет... Зачем в кухарку? – удивленно переспросил офицер.

– Да уж так... для полноты переживаний! – зло ответила Елена Николаевна.

– Нет, Елена Николаевна... не в кухарку...

Что-то такое прозвучало в его лихом ответе, что девушка почувствовала легкое угрызение совести и поглядела на его унылую нелепую фигуру серьезнее и мягче.

– А в кого же?

– Видите ли... Я тогда жил в уездном городе... далеко отсюда... И там была одна барышня... Лиза Чумакова... Она только что окончила гимназию, и... и я страшно любил ее!.. Верите, это в романах так говорится, но я за нее пошел бы

В огонь и воду!

– Что ж, она красивая была?

– Я не знаю... По-моему – удивительно красивая!

– Лучше меня? – кокетливо спросила девушка. Офицер не ответил. По его длинному бесцветному лицу скользнула тень.

– Ну?

– Что ж... Елена Николаевна... Об этом говорить не надо! – пробормотал офицер с мучительной гримасой.

– Как не надо? Значит, вы находите меня хуже? – жестоко настаивала девушка.

– Нет... как вам не стыдно!.. Вы... конечно... гораздо красивее... – с болью проговорил офицер и потупился.

И почему-то Елене Николаевне стало бесконечно жаль его и стыдно своей легкомысленной жестокости.

– Я пошутила... Простите, Иван Кириллович!

Она тихонько дотронулась до его большой грубоватой руки. Офицер светло и умиленно улыбнулся.

– Я не сержусь! Разве я могу на вас сердиться? – с теплой дрожью в голосе воскликнул он. – Хотите, я вам все расскажу... Хотя я никогда никому не рассказывал...

Елена Николаевна пригрела его глазами и сама почувствовала, как распускается убогая душа этого нелепого офицера под ее ласковым взглядом. Музыка вдали играла тихо, вокруг никого не было, и луна казалась совсем близкою. Полная и ясная.

Офицер рассказывал очень тихо и грустно. Совсем не таким голосом, как всегда. Чувствовалась в нем какая-то большая, чистая и открытая печаль.

– Я влюбился в Лизочку, еще когда она была гимназисткой, а я корнетом... А когда она стала уже совсем взрослой девушкой, я, знаете, Елена Николаевна, уже не видел никого, кроме нее. Она была такая милая, красивая, полная... то есть добрая... Любила очень детей, сад, свой старый дом, а ко мне относилась удивительно! В ее присутствии я становился другим человеком, ничего не позволял себе не только сделать дурного, но даже подумать!.. Знаете, с другими как-то так, а с нею как будто даже выше ростом становился... и в то же время чувствовал себя так, точно маленький мальчик возле матери!.. В ней было все мое счастье, и другого я не желал бы никогда... Только, конечно, я не умен и не образован... заинтересовать ее собою я, конечно, не мог, так как... Но я не знаю... мне только кажется, что все-таки со мною она могла бы быть счастлива. Я бы... Ах, Елена Николаевна!.. Разве я виноват, что не студент, не писатель там, а простой офицер?.. Разве без этого нельзя?.. А ведь как я любил бы ее!.. Для меня она была все!.. Ну, потом она уехала на курсы и под влиянием некоторых лиц из своей компании простилась со мной очень... нехорошо... Кажется, над ней смеялись, что она влюблена в простого офицера... По крайней мере, последнее время она как будто стала избегать меня и даже стыдиться... Не наедине, знаете, а при других. Что

ж, может быть, они и правы были, не знаю... Может быть, и действительно это смешно, что простой, необразованный офицер смеет любить... а впрочем, не знаю!.. Она уехала, а я остался в городке. И хотел я тогда застрелиться... Пошел уже взять револьвер – он у меня в кармане шинели был, – и вдруг пришла мне в голову мысль: может быть, ей там будет нехорошо, и я чем-нибудь могу помочь ей, хотя бы незаметно как-нибудь... Ну, я и раздумал, только ударился головой в шинель, которая на стене висела, и все говорил: «Лиза, Лизочка!..» Вы не будете смеяться, Елена Николаевна?

Елена Николаевна мягко посмотрела на него.

– Не буду, милый, – тихо возразила она и опять тронула его руку.

Поручик блаженно улыбнулся и заговорил смелее:

Потом она опять приехала на каникулы. Я ее даже как будто не узнал: похудела, знаете, побледнела, глаза стали строгие! Но со мной встретилась удивительно ласково и так обращалась мягко и осторожно, точно я стеклянный!.. И вот однажды поехали мы кататься на лодке в лунную ночь... И как-то так вышло, что... обнял я ее, что ли... И она тоже... Мы катались всю ночь. Лизочка все рассказывала мне, как ей было там тяжело, какая там холодная и жестокая жизнь, как все мужчины смотрят там на женщину дурно и грубо... как теперь она поняла, что счастье не в том... говорила, понимаете, что я... хороший, даже лучше всех и только сам себе цены не знаю... Когда я вернулся домой, я был самый

счастливым человеком в мире!.. Даже пел и танцевал – ей-богу!

Поручик застенчиво улыбнулся, и Елена Николаевна тоже улыбнулась: очень уж смешно представилась ей эта нелепая длинная фигура, восторженно танцующая в лакированных сапогах и шинели до пят.

– На другой день я не шел к ней, а прямо, знаете, летел по воздуху! И вдруг... Как увидел ее, так и почувствовал, что все пропало! Хотел было даже незаметно уйти, но она позвала меня и пошла прямо в сад. Дошла до калитки на улицу, остановилась, долго молчала, а потом протянула мне письмо... От одной подруги, еврейки из нашего города, которая, кажется, и на курсы ее сманила и больше всех издевалась над моей любовью... Та ей пишет, понимаете, в насмешливом тоне о возможности выйти замуж за меня, народить кучу детей, носы им вытирать и тому подобное... мещанское счастье и тому подобное... И так, знаете, зло, что мне и самому вдруг показалось это совершенно невозможным. Хотя я, конечно... Ну, потом Лиза ушла, а я долго стоял у забора и смотрел на улицу... Помню, по улице в это время стадо проходило, и бараны так кричали, что мне показалось, будто они меня дразнят... Ей-богу!.. Так все и кончилось... Потом Лиза опять уехала в Петербург и скоро там застрелилась... будто бы жизнь надоела... А она и не жила еще совсем!.. И потом... когда делали вскрытие... оказалось, что она... беременна...

Офицер замолчал. Молчала и Елена Николаевна и задум-

чиво смотрела на луну. Смутно и горько разворачивалась перед нею эта страшная, никому не известная драма.

«Что она переживала, эта девушка?.. Почему застрелилась?.. Беременна была... значит, любила?..»

– Господи, Елена Николаевна, – заговорил офицер горько, – ведь... неужели она была счастливее с тем человеком, который даже на похороны ее не пришел?.. А ведь я так любил ее! Я бы всю жизнь молился на нее! Я не знаю... Когда она застрелилась, в моей душе навсегда умерло самое лучшее, светлое, что у меня было. С тех пор у меня точно надорвано внутри что-то... На людях еще ничего, с вами вот... а когда я останусь один, вспомню, так вот и кажется, что здесь вот что-то тихо, тихо сочится... как кровь!..

Офицер еще что-то шептал, и шепот его был горяч и страстен, полон невыразимой скорби. Елена Николаевна с изумлением слушала его, и длинная нелепая фигура офицера все вырастала и вырастала в ее глазах, становилась все чище и прекраснее!.. И уже это не был смешной кавалерийский поручик, а некто большой, чистый и святой своею великою любовью и безысходной печалью. И странным показалось ей, как это та, покойная девушка не поняла великой любви, принесенной к ее ногам.

Она чуть было не подумала: «Если бы я была на ее месте, я бы...»

И тут только заметила, что с офицером делается что-то странное, смотрит в упор на луну, глаза широко открыты, и

в них влажно блестят голубые искорки лунного света.

– Иван Кириллович! – дрогнувшим голосом сказала она.

Но в это время зазвенел звонкий женский смех, точно в темную аллею бросили горсть разноцветного стекла, и к ним подбежала гибкая женская фигурка, от которой так и пахнуло вокруг весельем, здоровьем, молодостью и лукавством.

– Леночка, – закричала она, – чего вы тут запрятались?.. Идем скорее... Насилу тебя нашла!.. Что? Поручик опять тебе в любви объяснился? В который раз?

Целый фейерверк смеха, вопросов, острот и шуток посыпался на них и мгновенно унес то хрупкое настроение чистоты и жалости, которое овладело Еленой Николаевной. Скоро обе девушки, смеясь и волнуясь, шли в освещенную часть сада, забыв о поручике. Он остался один на краю скамейки, длинный, серый и унылый, по-прежнему глядя на луну и что-то горько бормоча про себя.

– Знаешь что? – щебетала Валя, как сорока вертя хвостом серой короткой юбки. – Приехал писатель Балагин!

– Разве? – машинально переспросила Елена Николаевна, еще не совсем стряхнувшая тихую мечтательную задумчивость.

– Ей-богу!.. Пойдем посмотрим... Он тут в саду с Пржемовичем сидит... Интересный! Пойдем скорее!

Свежая струя любопытного оживления охватила душу Елены Николаевны. Этим Балагиным были полны умы всех интересующихся литературой. Молодежь постоянно говори-

ла о нем, каждого нового произведения его ждали все. Елене Николаевне никогда не приходило в голову представлять себе его живым, обыкновенным человеком. Таким далеким, совершенно немислимым в их серой будничной обстановке представлялся ей писатель.

– И мы можем с ним познакомиться... через Пржемовича! – захлебываясь от волнения, трещала Валя.

– Ну, зачем!.. – смутилась Елена Николаевна.

– Как зачем! – удивленно воскликнула Валя и даже приостановилась.

Елена Николаевна и сама не знала. Просто ей стало страшно и неловко, она сразу почувствовала себя глупой и незначительной.

Еще издали они увидели за одним из столиков знакомого студента Пржемовича, возбужденно разводившего руками, и незнакомую фигуру в мягкой светлой шляпе.

– Смотри, смотри... вот он! – шептала на всю аллею Валя, зачем-то цепляясь за руку Елены Николаевны и толкая ее всем телом.

Девушки степенно прошли мимо, бросая смущенно-любопытные взгляды из-под полей своих шляп.

Писатель Балагин сидел боком к столику, довольно красиво положив ногу на ногу и сдвинув на затылок светлую шляпу. Студент что-то рассказывал ему, и по тому, как преувеличенно развязно жестикулировал он, было видно, что он смущается, чувствует себя неловко и изо всех сил старается

показаться умнее и естественнее. Балагин слушал его внимательно, но хмуро. Мимо то и дело проходили барышни, студенты и гимназисты, притворявшиеся, что так себе, просто гуляют, и совершенно очевидно не спускавшие глаз с писателя. Балагин иногда взглядывал на них и чуть-чуть отворачивался. Барышни не замечали, что он украдкой следит за ними, и когда, пройдя до конца аллеи, они поворачивают назад, Балагин еще издали встречает тех из них, которые моложе, стройнее и красивее. Молодежи, наоборот, казалось, что писателю неприятно это назойливое внимание. И то же показалось Елене Николаевне.

– Ему, должно быть, страшно надоело это глазенье! – тихонько сказала она Вале.

– Мало ли чего! – засмеялась та. – Вольно же ему было делаться знаменитостью!

Из толпы выделились к ним Хлудеков и Котов, учитель гимназии, слабогрудый, озлобленный и уже пять лет влюбленный в Елену Николаевну человек. У Хлудекова был вид преувеличенного небрежения, а Котов язвительно усмехался тонкими, пересохшими от внутреннего жара губами.

– Здравствуйте, – сказал он, – и вы тут! Елена Николаевна инстинктивно обиделась.

– Что за странное замечание?.. Почему мне и не быть здесь... Я каждый вечер здесь гуляю, и вы это отлично знаете.

– Конечно, любопытно! – вызывающе вмешалась Валя. –

А вам завидно?

– Удивительно! – мгновенно побледнев, процедил Котов, с ненавистью скользнув по ее лицу глазами. – Я только не понимаю этого провинциализма... смешно, ей-богу!

– Слушайте, не точите яду! – отрезала Валя. – Вы сами нам двадцать раз рассказывали о своем знакомстве с Чеховым!

– Да и что ж тут такого? – сдержанно заметила Елена Николаевна. – Это так естественно... Люди, без сомнения, интересные...

– В каком смысле? – с деланной небрежностью отозвался Хлудеков, неприятным взглядом прищуренных глаз досказывая что-то двусмысленное.

– Как в каком? – с удивлением переспросила девушка.

– Ну да... в каком?

– Я не знаю, чего вы добиваетесь! – с внезапным раздражением сказала Елена Николаевна. – Вы сами прекрасно понимаете, что для того, чтобы сделаться писателем, надо кое-чем отличаться... по крайней мере, несколько глубже понимать и тоньше чувствовать, чем другие...

– Вы, кажется, думаете, что писатели какие-то особые существа, не похожие на простых смертных? – иронически процедил Хлудеков.

– Да... пожалуй, и так! – с подчеркиванием ответила девушка, вызываяюще глядя прямо в глаза Хлудекову.

«А ты как! – с угрозой подумал Хлудеков. – Ладно...» Ему

страшно захотелось напомнить ей, что все-таки она слишком зависима от него, чтобы говорить таким тоном. Но Хлудеков не нашелся, как выразить это, чтобы не было слишком прозрачно, грубо, по-купчески, и промолчал. Девушка, как бы угадывая его мысли, смотрела ему в лицо горящими глазами и не опускала их до тех пор, пока он невольно не отвернулся.

Тогда отвернулась и она, с презрительной гордой усмешкой. Но это напряжение сразу упало, и девушка почувствовала себя оскорбленной, униженной и жалкой.

– Да чего вы все так взъелись? – вмешалась Валя, стремительно приходя на помощь подруге. – Неужели вам, в самом деле, завидно?.. Стыдитесь, господа! Это мальчишество!

Хлудеков принужденно засмеялся.

– Сами вы еще недавно хвалили Балагина и смеялись над буржуазией, которая его не понимает... А теперь... Надо быть искреннее!

Хлудеков смешался, но Котов, который с наслаждением видел его поражение, тем не менее вдруг вмешался. Он начал хитро и запутанно доказывать, что буржуазия, не понимающая ничего нового ни в жизни, ни в искусстве, как таковая вызывает протест, но что касается этого прославленного Балагина, безотносительно, конечно, то его погоня за новизной, во что бы то ни стало – иногда просто нелепа. Он говорил долго и даже как будто с неподдельным жаром, но все время казалось, что говорит он не о писателе, а просто о человеке Балагине, против которого у него вспыхнуло недав-

нее личное раздражение. Валя пыталась спорить, но Котов с чахоточной злостью ловко разбивал ее наивные доводы и наконец заставил замолчать. В голосе его звучало торжество, а Хлудеков улыбался молча и язвительно, и нельзя было понять: над кем он смеется – над Вале́й, писателем или самим Котовым.

Девушки ходили, потупившись, и у обеих было такое чувство, точно они участвуют в чем-то нечестном и некрасивом. Но в ту самую минуту, когда Котов уже начал снисходительно растягивать слова, как бы изрекая всеми принятые истины, Валя вдруг неожиданно вскрикнула:

– Смотрите, Пржемович нам кланяется... Вот бы познаться!

Студент, имея гордый и взволнованный вид, который всеми силами скрывал, действительно привстал из-за столика и кланялся.

– Елена Николаевна, Валентина Петровна! Присаживайтесь к нам. Позвольте вас...

Елена Николаевна страшно смутилась, но Валя, отчаянно зарумянившись, с каким-то жадным движением повернула к столику.

Черные глаза Балагина, которым глубокая складка на лбу придавала суровый и сосредоточенный вид, поднялись им навстречу, и в них что-то засветилось. Елена Николаевна не поняла что, но ей показалось, что это – насмешка над их наивностью. На мгновение она ощутила крепкое и довольно

продолжительное пожатие теплой мужской руки. Загремели стулья, и знакомство состоялось.

Начался нудный и пустой разговор. Пржемович старался всех увеселять, был преувеличенно фамильярен с писателем и ежеминутно, довольно неудачно, острил. Хлудеков имел такой вид, точно его насильно принудили сесть к столу, и молчал. Котов пытался незаметно быть злым, но выходило некрасиво, и он уже действительно злился чахоточной болезненной злостью, от которой становилось тяжело, а барышни сидели чересчур скромно, точно гимназистки на экзамене. Елена Николаевна совсем не смотрела в сторону Балагина и все время нервно перебирала цепочку своей маленькой сумочки, а Валя, чуть-чуть раскрыв рот, не спускала с писателя глаз и хихикала каждому его слову. Балагин, видимо, чувствовал себя неловко. Говорил он мало и чересчур обдуманно, стараясь, чтобы каждая фраза была оригинальна и имела большой смысл. Это было трудно и, очевидно, связывало его по рукам и ногам.

– А вы знаете, Алексей Павлович, – любезно склабясь, сказал Пржемович, – Елена Николаевна ваша большая поклонница.

Елена Николаевна быстро взглянула на Балагина, вспыхнула, как девочка, и сделала такое движение, точно хотела отрицать это. Балагин принужденно поклонился, но видно было, что это ему приятно. После он то и дело особенно внимательно посматривал на Елену Николаевну, и глаза его

неуловимо скользили по ее лицу, плечам и груди.

Это волновало девушку, она чувствовала взгляды, хотя ни разу не поймала их, и ей все хотелось уйти. Как только разговор на минуту затих, она стала звать Валю домой.

– Что вы так рано? – спросил Пржемович.

– Так, я устала... – ответила девушка, вставая и не подымая глаз.

Провожать пошли Хлудеков и Котов, и всю дорогу шел прежний, но еще более неприятный разговор о писателе. До нелепости было очевидно, что дело вовсе не в писателе, а в оскорбленном мужском самолюбии. Поэтому Елена Николаевна просто отмалчивалась. Но зато Валя с наивной откровенностью все приставала к ней:

– А правда, Леночка, какой интересный?.. Особенный какой-то... Сразу видно, что это не то, что наши кавалеры...

– Благодарю, – с притворной шутливостью, но зло ответил Хлудеков.

Валя смутилась.

– Я не о вас... – возразила она, но так неудачно, что стало совсем неловко.

Расставаясь, прощались холодно и принужденно. Когда мужчины отошли, девушки расслышали, как Хлудеков что-то сказал, а Котов визгливо и злорадно засмеялся...

III

Балагин каждый вечер появлялся в саду, и публика понемногу привыкла к нему. По обыкновению, он садился за одним из столиков на самом освещенном месте, заломив свою светлую шляпу и положив ногу на ногу. Единственным его собеседником был Пржемович, который сделался его прямым поклонником, хотя прежде часто отзывался о его произведениях совершенно отрицательно. Пржемовичу, в натуре которого была черта польской липкой подобострастности, льстило это знакомство, и, должно быть, он порядочно надоел Балагину. Молодежь, по-прежнему прогуливавшаяся мимо писателя, часто видела, что Балагин почти не слушает его и предпочитает быстрыми, почти незаметными взглядами следить за проходившими женщинами. Впрочем, мало-помалу к писателю привыкли, и уже появление его не вызывало прежнего всеобщего любопытства, хотя каждый, особенно молодые девушки, при виде его всегда быстро, точно испугавшись, говорили:

– Балагин!..

Елена Николаевна часто видела его издали и несколько раз даже садилась так, чтобы видеть его. Но не подходила и старалась быть незамеченной.

Она сама не понимала, какое чувство возбуждает в ней этот человек, как ей казалось, совсем не похожий на других

людей.

Что-то смутно повлекло ее смотреть на него, о чем-то хотелось поговорить, и это желание иногда становилось таким сильным, что она уже вставала и направлялась в его сторону.

Почему-то она старалась уверить себя, что вовсе не имеет его в виду, а просто ей хочется пойти именно в ту аллею. И, хитря с собой, девушка тщательно подыскивала для этого приличный предлог, но обман не удавался, и тогда Елена Николаевна утешала себя: «Что ж тут такого? Ведь мы же знакомы!.. Подходит же к нему Пржемович!.. Это все пред-рассудки, провинциализм!.. Я такой же человек, как и все!»

Но каждый раз ею овладевало странное волнение, и было так сильно, что все лицо ее заливало румянцем, сердце начинало колотиться, а ноги охватывала слабость. Тогда девушка, неожиданно для себя самой, делала вид, что увидела в стороне что-то интересное, останавливалась, минутку стояла в нерешительности и, наконец, уходила домой, унося противное чувство неудовлетворенности.

И, наконец, ей стало казаться, что между ними лежит какая-то неодолимая преграда и что Балагин как был, так и останется для нее человеком из другого мира. Мира, в котором она, тихая железнодорожная барышня, может быть только смешна. И еще непонятное чутье подсказывало ей, что она может быть там только жертвой и человек этот никогда не стал бы для нее простым и обыкновенным, как все люди. Она говорила себе, что все это пустяки, что Балагин как

появился, так и исчезнет из круга ее жизни, в котором она долго-долго будет вертеться с Хлудековым, Котовым, Валецким, поручиком и другими, такими же незаметными и будничными людьми, как она сама. Тогда она решила, что ей нет никакого дела до него, и как будто успокаивалась. Но когда ясно представляла себе, что это так и есть, становилось вдруг скучно и вся дальнейшая жизнь начинала казаться чем-то вроде знакомой серой стены рояльной фабрики. Тоска тихо сжимала сердце.

По какому-то внутреннему чувству Елена Николаевна избегала говорить о Балагине. Ей казалось, что с первого же слова все догадаются, что Балагин для нее не просто любимый писатель, а нечто гораздо большее и близкое. И действительно: раза два, когда она, не выдержав озлобленных нападок Котова, который, кажется, ненавидел Балагина всеми силами души, начинала возражать, она понемногу увлекалась до того, что с горящими щеками и слезами на глазах доходила до личностей.

И сейчас же, притворно оглядываясь по сторонам, Хлудеков начинал что-то насмешливо напевать, а Котов открыто замечал:

– Да... Женщинам свойственно увлекаться!

– Что вы этим хотите сказать? – вспыхивая и вдруг опять чувствуя себя так, точно кто-то внезапно обнажил все ее тело, чуть не заплакала девушка. – Почему у вас сейчас же какие-то пошлости на уме? Отчего у вас может быть любимый

писатель, и когда вы хвалите кого-нибудь, то это естественно, а когда женщина начинает говорить... Ну, допустите, что я в самом деле люблю...

– Я это и допускаю! – двусмысленно, почти с ненавистью, возразил Котов и чересчур грубо и понятно перевел разговор.

– Я хотела сказать, что люблю, конечно, как писателя! – с отчаянием крикнула девушка.

– Ну конечно! – играя тоном, согласился Котов. – Итак, Валентина Петровна, завтра мы на пикнике?

Елена Николаевна бессильно замолчала, и чувство беззащитной обиды в самом деле выдавило слезы на ее глаза.

И странно казалось ей, что глупенькая Валя, открыто объявлявшая, что Балагин ее симпатия, и храбро выступавшая на его защиту, не подвергалась ни насмешкам, ни этому обнажающему, двусмысленному замалчиванию.

Зато между собою две девушки часто говорили о Балагине. И один раз Валя задала странный и мечтательный вопрос:

– А что, если бы он стал ухаживать за тобой?

В это время были чистые весенние сумерки, небо прозрачно темнело, бледные звезды незаметно проступали сквозь его синеву, и во всем была разлита нежная, неуловимая задумчивость. Девушки шли домой по пустынному переулку.

Елена Николаевна ничего не могла ответить. Этот вопрос никогда не приходил ей в голову, как нечто совершенно

невозможное. Она промолчала. Но смелый и звонкий голос Вали не унимался.

– Я бы тогда на все рукой махнула! – заявила она, блестя глазами.

– Как? – удивленно и даже испуганно спросила Елена Николаевна, почему-то слегка краснея.

– Да так... такому человеку, конечно, не удовлетвориться ни мной, ни тобой... У него слишком большая и интересная жизнь, и женщины, вероятно, и так проходу ему не дают... А все-таки!

Она внезапно замолкла и шла, мечтательно глядя перед собою затуманившимися глазами и распахнув свою легкую светлую кофточку, из-под которой молодо и отчаянно открывалась выпуклая, сильная грудь, едва прикрытая светлой материей.

– А все-таки что? – беззвучно переспросила Елена Николаевна, пугливо лоя в себе сладкое и тревожное влечение заглянуть в самую глубину пропасти. Так близко, чтобы голова закружилась.

– А все-таки пошла бы на все! – упрямо ответила Валя. – Что, в самом деле? Тут хоть две недели, а жизнь была бы интересной... Ведь все равно, рано или поздно, выйдешь замуж и...

Валя не договорила и покраснела здоровым, свежим румянцем. Покраснела и Елена Николаевна.

– Почему же непременно замуж? – возразила она несмело.

– Ну, оставаться старой девой... Тоже не бог вещь какое счастье!

– А тогда не все ли равно?

– Ну, нет! – живо возразила Валя. – Большая разница!.. Сближаться с человеком, которого считаешь выше себя, или с животным, в котором все пошло и скучно!

И этот короткий разговор, один из тех девичьих разговоров, о которых знают только они, пробужденные жизнью молодые девушки, оставил в душе Елены Николаевны глубокое и яркое впечатление. Точно на одну секунду она побывала в каком-то запретном мире, полном света, удали и счастья. Целый вечер она была задумчива и весела, сама не зная отчего. Только кровь играла быстрее, поминутно окрашивая тонкую кожу, да влажные губы улыбались загадочно.

А через несколько дней в конце сада, около той скамейки, где она слышала рассказ длинного офицера, Елена Николаевна одна встретила Балагина. Когда она узнала его высокую фигуру в светлой шляпе, девушка страшно смутилась, и первое движение ее было – ответить на поклон и пройти мимо, не подымая глаз. Но Балагин остановился на дороге и, протянув руку, сказал:

– Куда вы так бежите? Здравствуйте!

Маленькая рука девушки была крепко охвачена мужскими теплыми и сильными пальцами. Балагин жал руку долгим и ласковым пожатием и смотрел сверху в ее бледное от луны, казавшееся поразительно хорошеньким личико.

– Хотите, пройдемся вместе? Мне скучно ведь одному, право! – сказал Балагин, как будто упрекая свою лучшую подругу в том, что она бросила его одного. Не было в его голосе того наигранного выражения, к которому привыкла Елена Николаевна от других, а было нечто такое, отчего ей казалось, будто он сразу, в немногих словах, рассказывал что-то, полное глубокого содержания.

Они прошли до самого конца аллеи и сели над обрывом, откуда был виден конец города с цепями желтых и белых огоньков, блестящих, как звездочки, просыпанные на запыленную лунным светом землю. Туманная дымка воздушно крыла дальние крыши, сады и трубы, и они казались таинственно легкими, как лунный сон. И сама луна, светлая и круглая, торжественно стояла над городом.

С чего и как начался разговор – Елена Николаевна потом не могла вспомнить. Она страшно волновалась и поминутно краснела в темноте, радуясь, что лунный свет скрывает ее выражение. Только вышло как-то так, что ей сделалось совсем легко, и разговор принял мягкий, милый и волнующе загадочный тон.

Луна далеко передвинулась по небу и огоньки в туманном городе поредели, когда Елена Николаевна, успокоенная, радостная и оживленная тихим, но захватывающим волнением, сказала, доверчиво глядя в блестящие глаза Балагина:

– Странно, мне с вами так легко, как будто я вас давно знаю... Этого со мной никогда не бывало... Обыкновенно я

очень туго схожусь с людьми.

Глаза Балагина странно блеснули.

– Не знаю, отчего так, – улыбнулся он, вспоминая, что уже не раз слышал это от таких же молоденьких наивных девушек, и ответил, как отвечал и прежде: – Может быть, потому что ведь и правда вы меня знаете давно... Такова участь писателей: вы для меня – совершенно новый человек, а меня вы знаете, может быть, лучше, чем я сам...

– Пожалуй, – задумалась девушка, с выражением наивной серьезности на большеглазом бледном личике. – Только разве можно было по произведениям писателя узнать его как человека? Мне кажется, трудно!..

– Видите ли, в жизни мы все лжем и стараемся показывать себя только с самой выгодной стороны, а когда писатель садится за работу, то в страшном желании написать как можно лучше он вызывает напряжение всех своих духовных сил и невольно, незаметно для самого себя, проявляет многое такое, о чем он не желал бы, чтобы знал кто-нибудь на свете... И если вдуматься в его работу, в выбор тем, в типы, которым автор симпатизирует или которых он ненавидит, в характер изображенной им природы, в женские лица, наконец, то личность писателя станет во весь рост... Этим мало занимались до сих пор, а жаль... О писателях говорят только после их смерти и то по принципу: или ничего, или хорошее... И в результате Глеб Успенский кажется нам совершенно тем же, что и Чехов... Для этого уже есть трафарет: обаятельность,

своеобразный юмор и т. д... Не умеют читать: читают только по строкам, ищут идей и настроений, а не личности писателя, а ведь самое главное в творчестве каждого человека – он сам!.. Женщины, я заметил, отличаются особенной способностью угадывать то, что писатели прячут в глубине своих образов...

Елена Николаевна задумалась.

– А ведь это правда... – сказала она. – Вот... хотя вы в каждой строке говорите о смерти, о зловещем роке, о том, что... все в жизни суета сует... и хотя вас считают безнадежным пессимистом и отрицателем, а мне кажется, что на самом деле вы очень жизнерадостный, добрый и страстно любите жизнь... Правда?..

Она улыбнулась, как бы извиняясь.

– Что ж, может быть... не знаю, право, – принужденно ответил Балагин.

Ему больше нравилось, чтобы женщины считали его именно такой трагической личностью, с темными, почти бездонными провалами в душе, каким он сам выдвигал себя в своих безнадежных романах и драмах. И потому он стал говорить о том, что в жизни действительно все гадко, скучно и тяжело.

– Если я что-нибудь и люблю в жизни как действительно прекрасное, то это только женскую молодость и красоту... – сказал он искренно в конце мрачной и безнадежной речи. – Каждая молодая и красивая женщина волнует и привлекает

меня. Я не думаю, чтобы руководилось это чувство только дурными инстинктами... Мне не то что хотелось непременно обладать ими физически... нет!.. Это даже вовсе не так интересно и нужно... Но в женской молодости и красоте есть та самая хрупкая, чистая и трогательная нежность, которая так сладко и больно берет за сердце, когда смотришь на весенние цветы...

Елена Николаевна слушала всем существом своим, когда Балагин стал говорить о своей жизни, о своих планах, замыслах и начатых работах, тихонько вздохнула и проговорила чуть слышно:

– Счастливы вы!

Кроткая бессильная грусть о какой-то иной, красивой жизни, созданной ее мечтой, прорвалась в этом слове.

– Я?.. О нет! – пожал плечами Балагин. – Это только со стороны кажется, что жизнь писателя – что-то полное интереса, красок и движения. А на самом деле искусство такое же ремесло, и в нем больше скучного, мелкого и даже противного, чем радости.

И он долго, искренно рассказывал ей, почему это так. Красивое, освещенное луной лицо женщины, смотревшей на него чуткими, влюбленными глазами, подымало душу, и голос Балагина звучал горячим чувством, страданием и гневом. Настолько же сознательно, насколько и невольно, он вызывал в душе девушки жалость и нежность к себе. Говорил о том, какая страшная вражда и зависть существуют между

писателями, какая грязь и интриги царят в литературном мире. Яркая, но грубая картина открывалась перед удивленными глазами девушки, совершенно иначе представлявшей себе мир Тургеневых, Достоевских и Толстых. И как-то незаметно личность самого Балагина выступила на этом темном фоне ярким и чистым образом, достигающим голову чуть не до неба. Он представился ей бесконечно одиноким, в толпе врагов и льстецов, которые только и ждут его падения.

– А ведь когда писатель умирает, – грустным проникновенным голосом говорил Балагин, – все они преклоняются перед его памятью, пишут, что личность его была обаятельна, что умер он не вовремя... Это всегда говорят, и даже, может быть, искренно! Я это знаю, и, верьте, иногда становится так противно, что самое слово «литература» приобретает отталкивающий смысл. Иногда страшно становится при мысли, что, может быть, придется прожить еще много лет и все писать, писать... романы, драмы, рассказы... без конца и конечного смысла...

Балагин вздрогнул, не то от повеявшего ветерка, не то от какой-то внутренней нервной боли.

– Разве можно так думать? – тихо заметила девушка, вся загораясь материнским желанием помочь и утешить. – Разве вы пишете для критиков и своих товарищей? Ведь они – это только капля в море... А здесь, в глуши, ничего этого не знают, любят своих писателей, ждут их... Вы сами, быть может, не знаете, сколько людей живет только литературой,

спасаясь в ней от своей скучной, пошлой жизни... от тех маленьких и дрянных людей, которые их окружают...

Голосок девушки дрогнул и сорвался на горячий, проникающей в душу чистой нотке. Она даже сделала какое-то порывистое движение, точно хотела обнять и приласкать его, но сейчас же смутилась, покраснела и потупилась.

Балагин внимательно и жадно смотрел на нее.

– Милая вы девушка! – сказал он.

Но Еленой Николаевной вдруг овладело какое-то странное волнение. Как будто она испугалась что-то сказать, в чем-то признаться и не чувствовала в себе силы скрыть это. Балагин опять заговорил, но девушка настойчиво заторопилась домой.

– Поздно уже... Надо идти... Пойдемте!..

Когда они вдвоем шли по пустынным, освещенным луной улицам, шаги их гулко отдавались в ночной тишине, а сердца дрожали предчувствием чего-то нового, жутко счастливого и таинственного. Луна поднялась высоко и глядела на город прямо и спокойно, как небесная царица.

У ворот ее дома они еще долго стояли, и Балагин говорил, заглядывая девушке в самые глаза: «А что, если я в вас влюблюсь?»

Девушка краснела в темноте и слегка испуганно возражала:

– Этого не может быть!

– Ну, а если? – настойчиво и все ниже нагибаясь к ней,

повторил Балагин.

Тогда она неожиданно лукаво засмеялась.

– Ну, так что же?.. Тем лучше!

– И вы этого не боитесь, не испугаетесь? – странно дрожащим голосом спросил Балагин возле самых губ ее.

Девушка не ответила, она прямо смотрела ему в глаза, и в ее зрачках было что-то напряженное, зачарованное. И что-то без слов спрашивало и позволяло в ее полузакрытых глазах. Росла и тянула какая-то странная, жгучая связь. И как-то незаметно между их лицами стало близко-близко; сама девушка, против воли охваченная горячим туманом, в котором светились, как черные звезды, только его блестящие глаза, потянулась вперед горящими, раскрывшимися губами. Незнакомые мужские губы, проникая все тело жаром и забытьем, поцеловали ее. Девушка вздрогнула, сделала слабую попытку вырваться и вдруг вся ослабела, замерла, не отрываясь от его губ.

Долго продолжалось томительное, жгучее, похожее и на сон, и на обморок забытье. Было тихо-тихо, и уже все мягкое, покорное тело девушки прильнуло к высокому, сильно-му мужскому телу. В голове ее гудела странная музыка, обрывки мыслей тонули в истинном тумане.

Пустынная улица чутко сторожила все звуки. Где-то протяжно и заливисто лаяла маленькая собачка. Только краешек луны лукаво и ярко выглядывал из-за темной крыши. Они в темноте, ничего не говоря друг другу, целовались тягучи-

ми поцелуями, чувствуя горячее дыхание, усиленное биение сердец и еще что-то, как бы идущее из тела в тело и связывавшее их в одно.

– Ну, до свиданья! – сказал Балагин и поцеловал ее еще раз, но уже как-то по-иному, удивительно нежно и чисто, как бы благодаря и благословляя. – Вы очень хорошая и милая девушка! – сказал он просто. – Я рад, что мы встретились.

Луна спряталась совсем, и только слабое сияние над черной крышей указывало на то, что она еще здесь и тихо блюдет спящий город.

IV

У Елены Николаевны наступили вечерние занятия, и до девяти часов она сидела в пустой канцелярии, треща своей машинкой, как кузнечик в траве. В большой комнате, кроме нее, был еще только один чиновник, серенький писец с подвязанной щекой, за все время не сказавший ей ни одного слова. Только у него и у нее, на двух разных концах комнаты, горели лампы с зелеными абажурами. Было темно и даже как-то погребально от мрака, сгустившегося по углам, и от больших столов, обитых черной клеенкой.

И девушка рада была этому одиночеству и работе. Последние две недели внесли в ее жизнь столько нового, жуткого, что надо было побыть наедине и обдумать все. Девушка так и не знала, хорошо или дурно то, что случилось, счастлива она или несчастна. Но знала одно, что прежняя жизнь кончена. Ярким сном лунных ночей, поцелуев, тихих речей, объятий и ласк вошло в ее душу то, чему она знала простое и торжественное имя – любовь.

В тот вечер, когда Балагин из чужого и далекого стал ей бесконечно близким и дорогим, девушка пришла домой как пьяная. Никогда ее лицо не было так красиво и нежно, глаза так велики и глубоки, точно вся она, как сбрызнутый росой цветок, расцвела сразу во всем обаянии своей молодой красоты. Она долго стояла перед зеркалом, смотрела на свои

глаза, волосы, на горящие губы, на упругую грудь, колыхающуюся под голубой кофточкой, на тонкую талию, перетянутую золотым поясом. Чему-то удивлялась, чему-то улыбалась, Красивая мелодия была у нее в голове, и не было ни страха, ни сомнения, ни желания заглянуть в будущее. Было только богатое, захватывающее и душу и тело в одно, широкое страстное чувство.

Потом они встречались каждый день. Встречались украдкой, тщательно скрывая свои отношения от посторонних. Елена Николаевна говорила, что ей все равно, что она – свободный человек и никого и ничего не боится. Но Балагин ласково и настойчиво возражал:

– Зачем?.. Нам не нужно, чтобы кто-нибудь знал о наших переживаниях. Они только до тех пор и красивы, пока составляют тайну двух, мужчины и женщины. Когда коснется этого чужая рука – тайна становится пошлостью... Да и зачем портить вашу жизнь... Ваша репутация может совершенно померкнуть в лучах моей репутации!

Он шутил и смеялся при этом, но все-таки бережно охранял девушку. Он вообще относился к ней с какой-то осторожной нежностью, точно боялся разбить дорогой сосуд. Но все-таки каждая новая встреча стихийно приносила все большую и большую близость. Каждое маленькое доказательство его власти над ее телом, растущей с каждым движением, сначала пугало девушку до обморока, а потом заполняло каким-то особым счастьем стыда, кружащим голову до

потери власти над собою. И Балагин, с опытностью знавшего много женщин, шел этим путем осторожно, не пугая и не оскорбляя. И все: первое объятие, поцелуй руки выше кисти, потом мягкая настойчивость, сплетенная из ласк и шепота, с какой он заставил ее обнажить руку до плеча и целовал эту, впервые оголенную для мужчины, круглую точеную руку, – составляло целую цепь жутких, новых и до восторга счастливых ощущений.

Когда он в первый раз посадил девушку к себе на колени, у нее закружилась голова, жар ударил в лицо, в глазах потемнело и ей стало так страшно и стыдно, что она вырвалась. С ней произошло что-то совершенно ей непонятное, зажегшее всю кровь. Даже болезненное. Она упорно уклонялась от каждой новой ласки, даже просила со слезами на глазах, а между тем, когда оставалась одна, именно об этом думала целыми часами, вся разгораясь, как в огне.

Балагин не обманывал ее. Он обо всем говорил открыто и просто, хотя как-то умел произносить каждое новое слово только тогда, когда она привыкла к прежним. Девушка уже знала, что любовь их кратковременна, что они расстанутся, и даже довольно скоро. Но Балагин сумел настроить ее так свободно и легко, что она не удивилась, не оскорбилась и даже не опечалилась. Настоящее было так хорошо, а будущее не рисовалось совсем.

Но когда Балагин заговаривал о возможности последней близости, жуткое чувство, похожее на ужас, охватило девуш-

ку.

– А ведь в конце концов мы должны сойтись совсем! – сказал Балагин прерывистым шепотом, когда она сидела у него на коленях в самом темном углу большого сада. – Вы не боитесь этого?.. Не боишься?

Девушка вся загорелась и растерялась от стыда. Но в этом стыде не было того противного, что испытывала она, когда смотрели на нее глаза других мужчин, даже и не говоривших о своих главных желаниях. Острое чувство обнаженности также появилось во всем теле, но оно было свежо и чисто. Напоминало то чувство, когда летом, где-нибудь на берегу реки, она раздевалась, чтобы купаться. Голая и стройная, стояла она на зеленой траве, нежащей босые ноги, над прозрачной водой, пронизанной солнцем до самого песчаного дна.

Ощущение своего голого тела, по которому, нежно грея, двигались пятна солнечного света и мягкий обволакивающий ветерок, было приятно и волновало, как запретное наслаждение. Она стояла голая только потому, что никто ее не видел, но все время чудилось, что со всех сторон жадно смотрят тысячи глаз. И в этом неуловимом сплетении чистого целомудрия и неосознанной потребности стыда было что-то волнующее и манящее. И теперь ей показалось, как тогда, что все ее тело, от круглых плеч до розовых пальцев на ногах, напрягается упругим и свежим напряжением, как после купанья в студеной прозрачной воде. Было стыдно, но хоро-

шим, кружащим голову, как вино, стыдом. Даже захотелось еще большего стыда. Но все-таки она подумала, что это совершенно невозможно.

– Этого никогда не будет! – тихонько ответила девушка, опуская голову, и Балагин только губами почувствовал, как щеки ее загорелись обжигающим холодком румянца.

– Вы думаете? – нагибаясь к ней и стараясь увидеть глаза, прошептал он, волнуя себя этой запретной игрой. – А я думаю, что будет!

Девушка стала слабо биться в его руках, стараясь спуститься с колен.

И с этого вечера она стала бессознательно ждать чего-то. Не могла представить своего тела обнаженного при нем, не знала и не понимала еще, в чем заключается то наслаждение, о котором говорил и он, и книги, и вся жизнь вокруг. Она твердо верила, что этого никогда не будет, а между тем близость последнего момента предчувствовалась всем телом, и когда девушка долго думала о нем, щеки начинали гореть, сердце билось усиленно и голова отказывалась связно рассуждать.

Ее волнение передавалось Балагину и составляло для него невыразимое наслаждение. Он постоянно возвращался к прерванному разговору и незаметно приучил девушку к этой мысли. Уже среди поцелуев и объятий самым главным стал разговор о том, и Балагин, и она сама, заранее дрожа, ждали того момента, когда ласки зажгут все тело и бесстыд-

ная мысль смело претворится в слова. Но каждый раз она упорно и слабо повторяла:

– Этого никогда не будет... Я знаю!

– Почему?

– Так...

Но каждый раз выговаривать это слово становилось все труднее и труднее, и девушка сама уж не знала: будет или не будет.

А тут наступила дождливая полоса, и вечера стали мокры, холодны и ветрены. Тогда Балагин стал звать ее к себе. Больше нигде нельзя было видеться наедине, а встречи при людях только раздражали. Но все же, прежде чем согласиться, девушка боролась несколько дней, чувствуя инстинктом, что, если пойдет, все будет кончено в тот же вечер. И тут-то она обрадовалась вечерним занятиям: они давали ей силу дотянуть день до конца, не видя его.

Вся история ее любви проходила перед ее глазами в эти долгие часы одинокого сидения в пустой, похожей на кладбище канцелярии. Она старалась проверить себя, остановиться, оглянуться и найти какую-нибудь ошибку, которая доказала бы ей, что можно и нужно прекратить все. Но воображение работало не так, как хотелось, и девушка чувствовала, что, что бы ни случилось, она не раскается ни в чем и, если бы начать все сначала, сделала бы то же самое. Жизнь стала так богата и красочна, что дико было даже подумать о возвращении к правильному, серенькому, размеренному су-

ществованию.

«Ну, что ж?.. Валя права: хоть час, да мой! О чем, собственно, думать и чего ждать?»

Память украдкой подсказывала ей фразу из одного романа, когда-то казавшуюся ей циничной и грубой: «Я поняла, что беречь эту чистоту не для кого и не для чего!»

И, притворяясь, что не понимает всего смысла этой грубой правды, девушка думала: «Ну, полюбила... пусть и буду его любовницей!.. Кому до этого дело? Разве лучше было бы выйти за Котова, или Хлудекова, или поручика?»

Тщедушный учитель с болезненной злостью на тонких губах, бессмысленно тщеславный Хлудеков, неизвестно по какому праву все презирающий и воображающий себя существом высшего полета, и серый плоский офицер представлялись ей, вызывая положительное отвращение.

А тут был человек с душой глубокой, в которой она не видела дна. Человек неожиданных мыслей, образов и слов. Она вошла в его жизнь со всеми его думами, планами, с широкими замыслами, охватывающими всю жизнь мировую. Он казался ей великим, и, когда он иногда воодушевлялся и с углубленной складкой на лбу, с горящими глазами говорил о том, как он покорит всех и заставит признать себя первым из первых, девушке хотелось отдать за него жизнь, стать перед ним на колени и благодарить за то счастье, которое он дал ей, маленькой женщине с серой и ничтожной судьбой.

И тогда мысль о том, что бороться не надо, что борьба и

бесполезна, и бессмысленна, смутно, но настойчиво определялась в ее затуманенной, горячей молодой голове.

Пересилив стыд, она старалась представить себе, как это будет, и, к своему удивлению, не могла понять, что же такого отталкивающего и гадкого видела она раньше. Так казалось просто и естественно, как тот же поцелуй, только бесконечно крепче и горячее. По временам даже самой хотелось, чтобы все совершилось скорее и между ними уже не было никакой преграды.

«Будь что будет!» – подумала она один раз, и что-то обрвалось в ней окончательно.

И, наконец, после того как, благодаря дождю и ветру, Елена Николаевна два дня не видела Балагина, она вышла из канцелярии, сознавая, что идет к нему.

Шла она как-то странно, то чересчур быстро, почти бегом, то медленно, как бы через силу. Чувствовалась страшная слабость в ногах, и хотелось закрыть глаза и лечь где-нибудь в темном, тихом уголке. Страшно было, чтобы кто-нибудь не увидел и не догадался, куда и зачем она идет.

«Зачем?..» – с мучительным презрением, подчеркивая это слово, думала девушка. И чувствовала, как сердце ее холодно замирает от невыносимого стыда и страха.

И при мысли, что кто-нибудь узнает, охватывал такой ужас, что дыхание перехватывалось и подымалось в мозгу болезненное бредовое ощущение. Ей казалось, что она не могла бы даже солгать при встрече с каким-нибудь знако-

мым, а между тем, когда столкнулась с длинной унылой шинелью поручика и когда он спросил ее:

– Елена Николаевна! Куда вы в такую погоду?

– Так. Иду к Вале!

– Вы позволите вас проводить? – робко спросил офицер.

Девушка побледнела. Когда она выходила из канцелярии, ей все казалось, что это только «так», проба, из которой ничего не выйдет, а она и в самом деле просто придет к Вале, где ее ждут. Но теперь, когда она увидела, что поручик увязывается за нею, девушка вся похолодела. Офицер что-то говорил, пробовал острить, шел рядом, но девушка вся трепыхалась, как подстреленная птица. Она молола всякую ерунду, без причины смеялась, злилась и, наконец, стала оскорблять поручика.

И странно, что именно этот недалекий офицер первый и сразу почувствовал, что она лжет. Он вдруг притих, сделался задумчивым и совсем замолчал.

– Елена Николаевна, – с трудом выговорил он не скоро, – я... хотел с вами поговорить... Вы знаете, как я...

– Ах, нет... У меня голова болит! – испуганно и невпопад возразила девушка. – В другой раз... пожалуйста... прошу вас...

– Но... – глуповато пробормотал поручик.

– Ах, право... в другой раз... миленький Иван Кириллович! – как шальная, перебила девушка, с тоской видя, что до квартиры Вали осталось уже немного. Она была жалка, и

поручик опешил.

– Елена Николаевна, – горько пробормотал он, – я вам мешаю?.. Вы скажите!

Слышно было, с каким трудом он произнес это слово, точно оно застряло в горле. И слышна была еще покорная любовная мольба. Он всем существом своим ждал ответа отрицательного: какого-нибудь простенького, вежливого словца. Но девушка ответила:

– Да... то есть нет... Право! Почему? Что за глупости? Просто я... тороплюсь, и у меня голова болит.

Офицер побледнел и вдруг остановился.

Мучительная жалость охватила девушку. Она отчетливо и ясно понимала в эту минуту все, что делалось в душе бедного нелепого офицера. Но ее била лихорадка. Ей казалось, что, если офицер не оставит ее, произойдет что-то непоправимо ужасное, навсегда будет утрачено все. И вдруг она нелепо начала кокетничать, прижалась к руке поручика, засмеялась и чуть не заплакала.

– Так я уйду... – пробормотал офицер убито. – Может быть, в самом деле...

Она испугалась, что он догадается.

– Что в самом деле?.. Какие глупости!.. Право, глупости!.. Вы мне нисколько не мешаете!..

– Разве? – с робкой дрожью надежды в голосе спросил поручик.

Он уже готов был остаться, забыв все, что подсказало ему

чутье, но когда девушка почувствовала это, она вдруг ощутила прилив такой холодной злобы, что забыла все.

— А впрочем, до свидания! Тут вот и Валя... До свидания. Не сердитесь на меня. Я сегодня какая-то...

Она не закончила чересчур звонкой лживой фразы. Ей было уже все равно, она знала только одно, что должна идти.

Поручик остался один под дождем, в вечернем сумраке, и торчал у тротуара, как фонарный столб.

Елена Николаевна быстро добежала до дома Вали, вскочила в калитку и долго стояла там, прижавшись в темном углу. Она рвалась и дрожала всем телом. Ей то казалось, что она уже целую вечность стоит и ждет тут в темноте, то казалось, прошло только несколько секунд. Наконец она не выдержала, быстро вышла на улицу и быстро-быстро пошла назад.

По улицам гудел ветер, брызгая в лицо холодными каплями. Фонари тоскливо метались в своих стеклянных домиках, и свет их золотил дрожавшие лужи.

На одном углу девушке мельком показалось, что у стены стоит, прижавшись, длинная серая шинель, и даже как будто она успела разглядеть мокрое бледное лицо поручика со странным выражением в глазах. Но девушка только отшатнулась и прошла мимо. Для нее уже не существовало ничего.

Она шла быстро, одна, в сырости и сумраке ненасытной ночи. Где-то за серой пеленой дымчатых туч скользила луна, и тучи бежали бесконечно и стремительно, как дни ка-

кой-то холодной, страшной жизни. Ветер рвал на углах, точно кто-то голодный и жадный, как зверь, от богатых домов, от светлых фонарей, из темных углов, отовсюду бросался на ее хрупкое, слабое тело и толкал его в грязь.